

что «за свою долгую жизнь у меня, вероятно, было немало не слишком благородных дел и поступков» (с. 9). Слов нет, смертному человеку невозможно оставить в жизни один лишь евангельски чистый след. Но, может быть, сомнения историка в безальтернативности юношеского бытия проистекают от неуверенности в правильности подхода к истории страны, с которой он связан слишком интимно?

Невольно вступая в скрытый, бесконечный и безрезультатный спор с мемуаристом, как-то забываешь главное. Текст написан блестяще, с необходимой долей юмора. «Мертвая история возрождается, минувшее становится нынешним, если того требует сама жизнь» (Б. Кроче). Стоит ли требовать большего?

Последняя глава называется «Жизнь только начиналась» и заканчивается словами: «Если неведомые силы, которые нами управляют, позволят, напишу и о последующем. А пока ставлю точку» (с. 231). Остается только надеяться, что следующий том воспоминаний более подробно и откровенно расскажет о том, чего нет ни в нынешних учебниках по совет-

ской истории, ни в сугубо научных трудах. Подлинное прошлое можно разглядеть только через историю поведения погруженных в него людей, какими бы они ни были и какими бы ни хотели казаться.

Сегодня историческая наука переживает не лучшие времена: люди не понимают, для чего нужен собственно историк. Для одних он – прозектор, способный вынести точный вердикт прошлому и указать путь в будущее, для других – актер, стремящийся вдохнуть душу в его омертвевшую ткань и потешить публику. На деле историку суждено разрываться между тем и другим. Но через историю и историков людям все же дается шанс на совершенствование, – человек обязан знать больше своих предшественников, иначе он обречен на видовое вымирание. А потому нужно ценить профессионалов, занятых на «безнадежном» поприще исторического знания.

В.П. Булдаков,
доктор исторических наук
(Институт российской истории РАН)

Историк в конфликте со своим временем*

Личность историка всегда имеет право на некоторое внимание, даже в том случае, если он «поражает» коллег своей «непубличностью», живет «ученым-затворником», с утра до ночи просящая в архиве и не имея «никакого желания “красоваться” перед публикой» (с. 53). Но в отличие, например, от врача историк, только уйдя из жизни (или незадолго до своего ухода), может по-настоящему «рассчитывать» на профессиональный интерес со стороны коллег. По крайней мере, человеческий портрет живущего и работающего историка чаще укладывается в рамки дежурных отзывов, сочиняемых на скорую руку.

Из «Характеристики Павлюченкова Сергея Алексеевича 1960 года рождения, русского, научного сотрудника Отдела политической истории Института теории и истории социализма ЦК КПСС», выданной для представления в специализированный совет по защите кандидатских диссертаций 10 сентября 1991 г.: «Принципиален, доброжелателен. Среди коллег пользуется уважением. Способен вести самостоятельные научные исследования»

(с. 124–125). Вот и вся «оценочная» часть документа, извлеченного вместе с комплексом других материалов из архива доктора исторических наук, профессора С.А. Павлюченкова (1960–2010) и опубликованного в подготовленном усилиями двух десятков его коллег, посвященном ему памятном сборнике. А вот гораздо менее формализованная характеристика из открывающей этот сборник короткой мемуарной зарисовки: «Сергей Алексеевич был человеком замкнутым, закрытым, со сложным характером. Однако это поверхностное впечатление. Он был человеком с тонкой душевной организацией, ранимым и остро чувствующим несовершенство окружающего мира» (с. 11).

Творческая биография С.А. Павлюченкова как исследователя ранних лет советской истории началась накануне ее конца, в годы Перестройки. По-настоящему он раскрылся – в качестве автора 3 фундаментальных монографий: «Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа» (1996), «Военный коммунизм: власть и массы» (1997), «Орден меченосцев: партия и власть после революции, 1917–1929 гг.» (2008), а также участника или руководителя ряда крупных коллективных трудов (в том числе «Россия нэповская», 2002) – за истекшие 2 десятилетия, первое из которых пришлось на 1990-е гг. Именно в то, ныне часто недобрым словом поминаемое время, он

*Историк и его время: Воспоминания, публикации, исследования: Памяти Сергея Алексеевича Павлюченкова / Сост. В.Л. Телицын. М.: Собрание, 2010. 383 с., ил.

подготовил и выпустил 2 из 3 своих основных авторских работ, защитил докторскую диссертацию, получив признание в России и за рубежом в качестве специалиста по первым годам советской истории.

Из разработки военно-коммунистической проблематики, как свидетельствуют опубликованные в мемориальном сборнике материалы, выросал интерес историка не только к выходящим за ее рамки и «актуальным», по его мнению, для российской современности вопросам «формирования или обновления государственных систем», но и к живым человеческим сюжетам, даже если они оборачивались «падалью», «мертвецами», «людоедством», словом, «кругами голода» (из заголовков отдельных частей оставшейся ненаписанной книги «Царь-голод. Документальная экспедиция в 1921 и другие годы», подробный план которой Сергей Алексеевич прислал в 2002 г. итальянскому профессору Витторио Страде; с. 44 – 47).

Не разделяя «обыденное» представление о том, что «в основе изменения вещей лежит воля, индивидуальная или коллективная», Павлюченков полагал, что «историк приближается к профессионализму» именно в тот момент, когда «начинает осознать, что ход истории определяют неумолимые закономерности, когда ему открывается понимание глубокой причинности совершающегося» (с. 18).

В то же время, судя по свидетельству одного из друзей Сергея Алексеевича, случайно встретившего его «в самом начале забываемого 1991 г. ... на Манежной площади, во время митинга москвичей» (с. 55), Перестройка не оставила историка равнодушным. Да разве и могло быть тогда иначе с человеком, «остро чувствующим несовершенство окружающего его мира»? Но уже год спустя, как видно из письма Павлюченкова, написанного 20 февраля 1992 г. к американскому другу Джиму (личность адресата публикатору письма установить не удалось; но, судя по всему, это был коллега, историк), настроение его резко переменялось: «Все, что происходит кратко можно охарактеризовать как глубокий общественный кризис с растущей вероятностью национальной катастрофы. Видимо, мы ошибались, категорически отрицая конструктивное значение жесткой государственной власти в истории России. Специфика российской истории и особый путь развития, несомненно, объективно существуют, и игнорировать это, копируя западные образцы, губительно. Но, кажется, та встряска, которую мы сейчас переживаем, будет хорошим напоминанием об этой истине на будущее» (с. 126).

Ирония истории заключалась в данном случае в том, что мысль об особом пути развития России, содержащая в себе далеко идущие выводы, сформулированные позднее, – например, о том, что уже в начале XX в. «России нужен был “железный занавес” от европейских противоречий и влияний», а характерной чертой всей российской истории является периодически возникающая «в интересах внутренней перестройки» актуальность изоляционистской политики (с. 23) – сообщалась не кому-нибудь, а далекому американскому другу! Ведь сама возможность подобных неформальных контактов между отечественными и западными историками еще недавно была просто немыслима.

Но хотелось бы обратить внимание и на другую особенность этого письма: не вдаваясь в бытовые и политические подробности тогдашней ситуации, историк оставался историком, сосредоточиваясь на тех уроках, которые, по его мнению, следовало извлечь для науки. Письмо позволяет найти частичный ответ и на вопрос, почему в условиях «растущей вероятности национальной катастрофы» так в целом удачно сложилась личная творческая судьба самого Сергея Алексеевича, и когда именно он, по словам одного из его коллег, «отринув то, что мы называем “быт” ... с головой погрузился в науку» (с. 50).

Как это иногда случается, резкое ухудшение материальных условий, видимо, сомкнулось в судьбе историка с неурядицами в личной жизни. Но такова уж особенность профессии – в конце концов, это пошло ей на пользу. «Теперь живу абсолютно один и это замечательно, – сообщает он американскому адресату. – Воспринимаю одиночество как целительное лекарство после всех своих приключений. Могу спокойно работать» (с. 127). Хотя «кабинетным ученым» (с. 53) я бы его все-таки не назвал. Да и одиночество одиночеству рознь. Далеко не комфортный комплекс одиночества он испытывал именно там, где, казалось, мог спокойно работать. «Сейчас в наших архивах интересная картина: из 10 исследователей 9 – иностранцы. Очень много из США. Русские почти не ходят – не до науки. Но я пока держусь, хотя не знаю, надолго ли хватит терпения и привязанности к истории. Меня все чаще посещает мысль, что сейчас наступило время “критики” штыком, а не пером» (с. 127). И это мимолетное замечание тоже – что очень важно для обрисовки натуры историка – не осталось только красным словцом. В дни противостояния Верховного совета и Президента в октябре 1993 г. он оказался в толпе у телецентра Останкино. «Был под об-

стрелом». На следующее утро пытался пройти к Белому дому (с. 55–56).

Для понимания этого своеобразного характера, оказавшегося в конфликте с тем временем, которое только и позволило ему раскрыть свой талант историка, важна фраза из написанного им в 2000 г. отзыва на учебное пособие по курсу советской истории: «Думается, что ни у кого не может быть особых причин торжествовать по поводу провала советского коммунизма постольку, поскольку человеческая натура оказалась слишком низкой для его высоких требований к нравственным императивам, и будничность жизни взяла верх над могучей идеей» (с. 92).

Иногда у меня возникает вопрос, вроде бы для историка совершенно недопустимый, а чем бы был сам Сергей Алексеевич в той социально-политической системе, высокую изначальную мотивацию и объективную неизбежность

которой от военного коммунизма до «Большого террора» он обосновывал в своих насыщенных и мыслью, и плотью истории работах? Смею думать, что ничем примечательным, а, возможно, только лагерной пылью. Иного с его характером с ним приключиться тогда не могло. Остается порадоваться, что его не слишком долгая, увы, жизнь пришлась на иное время.

Определяющей чертой С. А. Павлюченкова как историка была интеллектуальная честность, которая при внешнем сходстве некоторых «обрамляющих» его фундированные книги выводов с ныне модными учебными схемами советской истории, в конечном счете, от них его творчество резко и отличает. Схемы исчезнут, как паутина на ветру, а книги останутся.

С.С. Секиринский,
доктор исторических наук
(журнал «Российская история»)